

ЕЛЕНА ДАВЫДОВА

ТРИ НОЛЬ ТРИ

ПОДРОСТКОВЫЙ ХОРРОР

Елена Давыдова

Три ноль три

<https://litres.ru/74607202>

SelfPub; 2026

Аннотация

В этом сборнике ты погрузишься в мир, где обычное время 3:03 становится зловещим. Тринадцать историй откроют перед тобой двери в мир, где реальность переплетается с кошмаром.

«Три ноль три» — это не просто время на часах. Это пропуск в мир, где граница между сном и явью стирается, а каждый шаг может стать последним. Узнай, что скрывается за этой цифрой. Но будь осторожен. Некоторые тайны лучше не разгадывать.

Подростковый хоррор, который сохраняет напряжение до самого финала и не отпускает даже после того, как перевернешь последнюю страницу.

Название работает как пароль: те, кто читал, сразу поймут его. Кто не читал — почувствует, что за словами «три ноль три» стоит нечто, о чем лучше не знать.

Елена Давыдова

Три ноль три

Желтая лента



Слух о Желтой ленте принес Никита от Дэна. Дэн услышал от старшего брата. А тот — от кого-то, кто давно окончил их школу. Так и рождаются легенды: из обрывков фраз, полунамеков и чужих догадок, пока не поймешь, где правда, а где вымысел.

История была такая.

Далеко в лесу за Сосновкой, за оврагом и ржавыми гаражами, куда не добираются даже самые отчаянные, стоит остов дома. Четыре бетонные стены без крыши, заросшие бурьяном. Говорят, раньше тут была ферма или база — никто не помнит. В центре бетонного пола — квадратная яма, метр на метр. На дне, в трех-четыре метра внизу, плещется ледяная проточная вода, уносящая тепло под землю.

Ритуал прост.

Приходишь ночью, один. Встаешь на край, светишь фонариком в черную воду и бросаешь что-то личное: шнурок, кольцо, браслет. А потом тихо произносишь свое тайное имя — то, из самого детства, которое знаешь только ты и мама.

И ждешь.

Иногда не происходит ничего. Но те, кому повезло, слышали из глубины беззвучный шепот, словно кто-то говорит под водой. И тут же из ямы, извиваясь, как змея, выныривает мокрая желтая лента. Не ярко-желтая, а выцветшая, как старый снимок.

Ты завязываешь ее на левом запястье. Два узла. И ухо-

дишь, не оглядываясь.

С этого момента тебе начинает везти. Фантастически. Удача сама идет в руки. Проблемы обходят стороной, жизнь становится ярче. Ты не меняешься внешне, но внутри чувствуешь, что лента работает.

Однако через месяц-другой она темнеет, превращаясь из горчичной в серую, а затем в угольно-черную. Вместе с ней гаснет и мир внутри тебя. Пропадают ощущения: вкус еды, холод, боль, запахи. Последним уходит сон. Тело просто забывает, как спать. Ты лежишь ночами напролет с открытыми глазами, и в голове — пустота.

И тогда ноги сами несут тебя обратно к яме. Ты стоишь на краю, срываешь с запястья иссохшую черную ленту и бросаешь ее в воду. Все заканчивается. Ощущения возвращаются. Но везение уходит безвозвратно, оставляя после себя глухую тоску по чему-то утраченному.

Это только первый раз. Можно повторить. Но с каждым разом удача длится все меньше, а тьма сгущается быстрее. Говорят, кто-то дошел до четырех раз. До пяти — никто.

Дэн сказал, что все это бред и на той заброшке делать нечего. Однако в его взгляде было что-то от человека, который произносит «неинтересно», хотя на самом деле уже давно все для себя определил.



Никита пошел не потому, что поверил. Он пошел, потому что было совершенно нечего делать.

Ему стукнуло шестнадцать. Он ютился с матерью в однушке на окраине Зеленограда, тянул лямку в ненавистном физмат-лицее и был безнадежно влюблен в Вику Лабутину. Та либо не догадывалась об этом, либо мастерски делала вид, что не замечает. Отец исчез три года назад — не то чтобы ушел, скорее, плавно испарился: сначала пропадал на выходные, потом на неделю, а после и вовсе съехал насовсем. Иногда он звонил. Никита не отвечал. Мать вкалывала на двух работах: днем в лаборатории, вечерами — репетитором. Денег хватало, но впритык. На новое — уже нет. На кроссовки, о которых мечтали все, — не хватало. На куртку, как у всех, — не хватало. На то, чтобы не чувствовать себя хуже других, — отчаянно не хватало.

Но он и не был хуже. Он был... нормальный. Средний. Не отличник и не двоечник, не спортсмен и не ботан, не качок и не лох. Просто середняк. Тень. Человек, чье присутствие отмечают, но чье отсутствие проходит незамеченным.

И это давило сильнее бедности. Бедность — всего лишь цифры на счете. А невидимость... Никита не находил для этого слова. Это как стоять посреди шумной толпы и понимать: исчезни ты сейчас — и никто не обернется. Тебя не

ждут. Ты не нужен — не в том смысле, что тебя ненавидят, а в куда более страшном: всем на тебя наплевать.

А вот Вика Лабутина была нужна. Ее ждали, за ней уживались, ее присутствие ощущалось физически. Она была не столько красивой, сколько яркой. Громкой. Живой. Когда Вика входила в класс, пространство менялось, будто кто-то резко включал свет. И не потому, что она старалась произвести впечатление, — она просто была такой. Люди — они как фонари: одни излучают свет, другие лишь потребляют энергию.

Никита был из тех, кто потребляет.

Желтая лента стала для него шансом. Не на Вику, не на деньги и не на успех. Это был шанс почувствовать, что он есть. Найти что-то настоящее, что-то, что выдернет его из этой серой середины, из тени, из оглушающей пустоты.

Он отправился один, в пятницу, в самом начале октября. В пятницу — потому что мать возвращалась с работы в одиннадцать и не стала бы донимать вопросами. В октябре — потому что летние тропы уже заросли высокой травой, а снег еще не выпал, и все было хорошо видно. Один — потому что Дэн наотрез отказался, а больше Никита никому и не предлагал.

— Ты серьезно туда погрешься? — недоверчиво хмыкнул Дэн, отхлебывая колу из банки. — Это же просто байка для туристов.

— А вдруг нет? — пожал плечами Никита, пиная носком

кроссовка опавший лист.

— Да даже если и нет, — Дэн скомкал банку и метко забросил ее в урну. — Оно тебе надо?

Никита ничего не ответил. Он просто смотрел, как его друг, такой же обычный парень, поворачивается и уходит, даже не оглянувшись. И в этот момент он понял, что пойдет. Обязательно пойдет.



До заброшки сорок минут пешком. Последние пятнадцать идти напрямик, через бурьян и по железнодорожной насыпи, мимо сгнивших, обвалившихся гаражей. А дальше — в лес. Лес здесь был скорее предлесьем: чахлый березняк да кустарник. Но за оврагом начинался настоящий высокий, темный сосняк. Под ногами пружинила плотная подстилка из хвои. Иголки не хрустели, а шуршали. И от этого вкрадчивого звука плечи Никиты невольно поднимались к ушам.

Смеркалось. Девять вечера — еще не ночь, но в лесу уже царил непроглядная темень. Темнота здесь была не просто отсутствием света, а чем-то плотным, осязаемым, что заполняло пространство между деревьями, подобно воде в стакане. Фонарик телефона выхватывал из мрака круг диаметром метра три, может, четыре. За его пределами не было ничего. Будто свет вырезал из мира крохотный островок, а остальное стер.

Никита шел и считал шаги. Просто чтобы делать хоть что-то, чтобы не думать. Двести, двести один, двести два... На триста семнадцатом он увидел стены.

Они оказались хуже, чем он представлял. Не развалины. Скелет. Потрескавшийся бетон, из которого, как ребра из грудной клетки, торчала ржавая арматура. Серые стены высотой около трех метров покрыты мхом и исписаны выцвет-

шими граффити, которые уже невозможно прочесть. Вместо двери — темный зияющий проем, словно раскрытый рот.

Никита застыл и стал вслушиваться. Ни звука. Но это была не естественная лесная тишь, наполненная ветром и шелестом, а мертвая, вакуумная пустота. Будто кто-то отключил звук. Тишина не просто скрывала шум, она поглощала его.

Он шагнул внутрь.

Перед ним был квадрат десять на десять метров. Стены, небо, пол. Под ногами лежала потрескавшаяся бетонная плита, заваленная мусором. Среди гнилой листвы валялись банки, бутылки и окурки. А в самом центре зияла яма. Совсем как в рассказах. Ровно метр на метр, с краями, словно их аккуратно вырезали. Из провала тянуло холодом. Не сквозняком. Оттуда поднималась плотная, тяжелая волна, как от сухого льда. Никита чувствовал ее лицом, грудью и руками. Это был не зимний холод: влажный, вязкий, он приносил с собой запах.

Это был не запах гнили, сырости или влажного бетона. Совсем другой. Откуда-то издалека, из почти стершихся воспоминаний детства, тянуло чем-то знакомым. Сладковатый минеральный запах возвращал его к подземному миру парка аттракционов: искусственной пещере с мокрыми стенами и тусклым желтым освещением... Тогда он плакал, а мама повторяла: «Не бойся, здесь ничего нет». Но он знал, что она лжет. Там что-то пряталось. Оно шевелилось во мраке.

Никита подошел к краю и посветил вниз.

Дно виднелось метрах в трех. Оно было покрыто темной водой, почти черной, но не стоячей. Вода медленно двигалась, утекая в невидимую щель. В ней не было ни отражений, ни мусора. Просто черная, текущая гладь.

Он опустился на колени. Выдернул желтый шнурок из капюшона старой серой толстовки. Желтый. Как та лента из рассказов. От этого случайного совпадения стало не по себе.

Никита бросил шнурок. Тот пролетел метра полтора и вошел в воду без единого всплеска. Беззвучно. Словно его и не было.

И тогда Никита позвал. Не крикнул. Тихо произнес в яму имя.

Не «Никита». Мама звала его Никитик, когда была добрая. Никитос, когда злилась. А когда он болел, лежал в темноте и она сидела рядом, то шептала: «Никеша». И он засыпал.

— Никеша, — сказал он.

И он смолк.

В ответ — ничего. Лишь тишина. Вода продолжала течь. Холод пробирался все выше. Запах не выветривался. «Ерунда, — решил Никита. — Дэн прав. Обычная заброшка. А все эти истории — от безделья».

Он уже хотел подняться, но тут что-то почувствовал.

Он не расслышал — ощутил. Зубами. Нижние резцы задрожали, словно по подбородку пришелся удар; дрожь под-

нялась к челюсти, скулам и вискам. Вместе с ней возникло нечто похожее на звук. Нет, на голос. Не речь — выдох, как и предупреждали. Бульканье, будто у говорившего во рту плескалась вода, но в нем проступал ритм, а за ритмом — смысл. Его имя. То, которым его звала дома только мать. И ему стало не страшно. Нет, страхом это не назвать. Он почувствовал... близость. Словно кто-то в яме знал его всю жизнь и звал к себе. Голос звучал тепло, но от него веяло ледяным холодом.

А потом из воды показалось нечто.

Желтое, узкое — то ли лента, то ли змея, то ли всплывшая водоросль. Оно неторопливо поднялось из черной воды, распласталось по поверхности и закачалось. Блекло-желтое, словно старый осенний лист.

Никита опустил руку. Пальцы коснулись воды. Она была теплой. Теплая вода в октябрьской ночи, в холодной яме. Никиту затошнило. То, что теплое среди холода, — мертвое. Но откуда ему это известно? Почему шестнадцатилетний подросток понимает, как ощущается теплое тело умершего в холодной комнате?

Он поднял мокрую, скользкую и прохладную ленту. Обвязал ею левое запястье, закрепив двумя узлами. Почти сразу почувствовал, как она стянулась. Легко, едва заметно. Словно чужая ладонь сомкнулась вокруг руки. И не разжималась.

Он поднялся и направился к выходу, не оборачиваясь. Мысли остались далеко позади, за запертой дверью, за кото-

рой он не мог оказаться. Да и не желал.



Лента заработала не сразу. День прошел в тишине. Второй — тоже. Но на четвертые сутки Никита, не открывавший учебник, получил четверку по физике. Через неделю Вика Лабутина, до этого не замечавшая его в упор, задержала взгляд:

— Ты что, подстригся? — она склонила голову, разглядывая его с любопытством.

Никита не стригся. Но она его увидела. Впервые по-настоящему. В этот миг лента на запястье потеплела, согревая кожу на полградуса.

Через две недели Никита стал другим. Он шел по коридорам, ощущая взгляды людей, как тепло солнца на щеках. Его звали, с ним заговаривали.

— Ты чего такой бодрый? — Дэн толкнул его в плечо, прищурившись.

— Выспался, — бросил Никита, не глядя на друга. Это была ложь. Спал он отвратительно, но Дэн не заметил подвоха. Дэн видел перед собой уверенного парня, а не того невидимку, которым Никита был раньше.

На литературе Вика пересела к нему. Не из-за нехватки мест. Просто захотела. От нее пахло вишневым гелем и чем-то неуловимо сладким. Никита впитывал каждый оттенок этого аромата, чувствуя, как лента пульсирует теплом. Мир

вокруг казался осязаемым, ярким, настоящим.

— Ты что-то сделал с волосами? — спросила мать за ужином, внимательно вглядываясь в его лицо.

Он ничего не менял. Но она тоже начала его видеть. Все начали.

А через месяц лента начала темнеть.

Сначала желтый цвет сменился горчичным, как у старой газеты, выгоревшей на подоконнике. Никита списал это на грязь. Но вместе с цветом менялось что-то внутри. Еда стала пресной. Не невкусной, а именно пустой. Он различал текстуру и температуру, но вкус словно выкрутили на ноль. Кофе обжигал язык, был горьким. Но перестал быть кофе. Тело перестало узнавать привычные вещи.

Затем пропало обоняние. Сперва исчезли едва уловимые ароматы: деревьев, кожи, вишневого геля Вики и маминого шампуня. Сохранились только едкие химические запахи бензина и растворителя. Мир словно утратил объем и глубину. Все стало похоже на немое кино. Изображение движется, но жизни в нем нет.

Сон уходил постепенно, будто кто-то плавно убавлял громкость. Три часа, два, час, ноль. Никита лежал в темноте с открытыми глазами. Ни усталости, ни мыслей, ни тревоги. Только пустота и серая лента на запястье.

Снаружи все оставалось безупречным. Люди тянулись к нему, Вика садилась рядом, оценки радовали учителей. Но внутри Никита превратился в выпотрошенный дом. Стены

стояли, крыша была на месте, но эхо его собственных шагов звучало чуждо, отражаясь от пустых, безжизненных комнат.



Дэн заметил первым.

Они сидели в столовой. Дэн уплетал обед, а Никита лишь лениво гонял вилок по тарелке, размазывая остатки пюре.

— На диете? — бросил Дэн, не поднимая глаз.

— Нет.

— Ты не ешь.

— Ем.

— Ты просто елозишь. Едят — это когда кладут в рот и жуют.

Никита послушно подцепил ложкой, отправил в рот, механически пожевал и проглотил. Текстура была, а вкуса — ноль. Словно жевал мокрый картон.

— Вижу, что кладешь, — Дэн отложил приборы и подался вперед. — Но ты как робот. Будто тебе это не нужно.

Никита промолчал. Он смотрел на Дэна, но взгляд скользил мимо. Друг казался плоским изображением на экране, за толстым слоем бронированного стекла. Дэн был здесь, но в то же время — бесконечно далеко, в другом, недостижимом мире.

— Слушай, — голос Дэна стал тише, почти вкрадчивым. — Не ври мне. Ты какой-то... серый. Лицо — как пепел. Под глазами тени, будто тебя били. Ты вообще спишь?

— Сплю.

— Сколько?

— Нормально.

— «Нормально» — это сколько?

Никита сжал пальцами край стола. «Нормально» означало ноль. Как объяснить это, если он и сам не понимал? Шесть ночей он просто лежал, уставившись в потолок. Семьсот сорок три трещины, ветвящиеся молниями над головой. Он выучил каждую, сделал их частью себя, и от этого становилось только тошнее. Ночь тянулась бесконечно, лишенная сна, лишенная усталости, лишенная конца. Он не мог уснуть, не мог устать, не мог остановиться.

Дэн хлопнул ладонью по столу, возвращая его в реальность:

— Погнали со мной. Есть тема. Серьезно. Погнали.



Темой разговора был Леха Морозов — одиннадцатиклассник. Широкий, бритый, с серьгой в ухе и самодельным «рукавом» на запястье. Татуировка, набитая иглой и тушью, выглядела именно так, как и должна: криво, густо, навсегда. Никита всегда сторонился таких, как Леха. Тот не был злым или опасным. Он был пугающе цельным. Леха знал, чего хочет, брал свое и не оглядывался на тех, кто стоял на пути.

Они встретились за школой, у мусорных баков. Леха курил, Дэн лениво жевал жвачку, Никита молчал.

— Покажи, — бросил Леха.

— Что?

— Руку.

Никита закатал рукав. Лента на запястье отливала темно-серым, почти черным. Леха присмотрелся, и его лицо застыло, превратившись в маску. Он вдавил окурок в кирпичную кладку, растерев его в пыль.

— Сколько раз ходил? — спросил он, не поднимая глаз.

— Один.

— Один? И такой вид? — Леха перевел взгляд на Никиту, и тот вдруг понял: Леха не просто смотрит, он узнает. Узнает в нем себя, причем глубже, чем если бы видел в зеркале.

— У тебя тоже? — тихо спросил Никита.

Леха молча закатал рукав. На его левом запястье чернела сухая, похожая на сброшенную змеиную кожу, лента. Три витка, три узла, трижды обмотанная вокруг руки.

— Три, — выдохнул Леха. — Первый раз — в марте. Второй — в июне. Третий — в сентябре. Сценарий один. Сначала кайф, потом тьма. Возвращаешься, отдаешь долг, и вроде бы снова нормально. Но «нормально» с каждым разом все короче. Понимаешь?

Никита кивнул.

— Первый раз — месяц покоя. Второй — две недели. Третий — три дня. А потом наступает не «нормально», а просто «не тьма». Серость. Как экран с выкрученной яркостью. Картинка есть, а жизни нет.

— И что делать? — Никита сжал кулаки.

Леха долго молчал, глядя в пустоту.

— Не знаю. Мой брат ходил четыре раза. На четвертый — не вернулся.

— В смысле?

— Ушел ночью. Думаешь, в яму? Нет. Просто исчез. Нашли через неделю в Подольске, у родни. Сидит, смотрит в стену, не ест, не говорит. Живой, а внутри пустота. Кукла. Глаза открыты, а за ними ничего. Мать его забрала, лечит. Бесполезно.

— И ты все равно продолжаешь? — Никита вздрогнул.

Леха посмотрел на него с тоской, в которой не было ни капли вызова.

— А что мне остается? Я без ленты — никто. Ты еще не знаешь. Ты первый раз сходил, ты еще настоящий. А я — третий. Без ленты я ноль. Меня просто нет, — он ударил себя ладонью в грудь. — Я и есть эта лента. Без нее я рассыплюсь.

Никита посмотрел на свою руку. Темно-серая полоса казалась единственной опорой. Он вдруг ощутил, что больше не чувствовал своего тела, только ленту. Она держала его, как рука матери держит ребенка над пропастью. Стоит отпустить, и он сорвется в бездну.

— Надо вернуть, — отрезал Леха, поправляя рукав. — Сегодня. Пойдем вместе.



Они пошли втроем: Леха, Дэн и Никита. Дэн упирался, но Леха отрезал: «Если Никитосу станет плохо в лесу, ты его понесешь». Дэн понял, что это не шутка, и пошел.

Одиннадцать вечера. Октябрь дышал холодом, небо затянуло плотной пеленой, луны не было. Когда они свернули с дороги, фонари остались позади. Дальше — лишь три дрожащих луча, выхватывающих из темноты бурьян, насыпь и остовы гаражей. Руки у всех троих ходили ходуном.

Леха шел первым. Двигался уверенно, будто знал дорогу наизусть. Никита поймал себя на мысли: а ведь он наверняка здесь каждый день. Лента зовет, и он идет. Стоит на краю, не в силах бросить. Ведь расстаться с ней значит отдать часть себя. Он цепляется за нее, а она — за него. И с каждым днем темнеет все сильнее.

В заброшке стоял тот же спертый запах. Но теперь Никита улавливал его отчетливее, как последний звук угасающей мелодии. От этого стало больнее, чем от пустоты.

Леха подошел к яме и направил луч вниз. Черная вода лениво ворочалась в глубине. Он опустил на колени и принялся разматывать ленты. Три черные полосы, мумифицированные, присохшие к запястьям, отходили с трудом, словно кожа с ожога. Никита всмотрелся. Под лентами кожа была мертвенно-белой, покрытой следами зубов: маленькие, ров-

ные оттиски, два ряда красных точек. Леха отвел взгляд, стиснув зубы. Он знал, что там.

Он разжал пальцы. Ленты одна за другой скользнули в воду. Без всплеска, без звука. Словно растворились в черноте. Леха замер.

Секунда, две, три.

Из ямы донесся стон. Низкий, протяжный, вибрирующий в бетоне и в самих костях. Никита зажал уши, но звук проникал сквозь подошвы, через пол, прямо в тело. Его невозможно было заглушить.

Леха поднялся. Его колотило, но он стоял прямо. Повернувшись к выходу, он казался другим, словно с него содрали тяжелую броню, оставив обнаженным и уязвимым.

— Теперь ты, — бросил он, не оборачиваясь.

Никита подошел к краю. Вода внизу двигалась быстрее. В ее течении чудилась хищная, звериная радость — как у пса, которому бросили мяч и который не подозревает, что он лишь игрушка в чужих руках.

Никита посмотрел на свою ленту. Раньше он не закатывал рукав, а теперь увидел следы зубов. Внутри что-то перевернулось. Это не было страхом или отвращением — это было прозрение. Лента не давала ему сил, она их высасывала. У Вики, у Дэна, у учителей она краля внимание, тепло, интерес, чтобы кормить эту тварь. Он был вампиром, питающимся чужими чувствами.

От этого осознания лента стала противной. Мертвая ткань

вцепилась в руку, и Никита рванул ее. Кожа под ней горела, красные точки саднили. Но эта боль была первой за неделю. Боль — это жизнь.

Он швырнул ленту в яму. Тишина.

Секунда, две, три.

— Никеша... — голос из воды был теплым, материнским, обволакивающим.

Ноги Никиты стали ватными. Он пошатнулся, но Дэн вовремя вцепился в его куртку, удерживая на краю. Голос звал его не в воду, а домой. Яма казалась единственным местом, где его ждали.

— Не смотри, — выдохнул Леха.

Никита сделал, как ему велели: резко отпрянул. Дэн схватил его и потащил подальше. Позади из ямы донесся взрыв звуков — скрежет, стон и безгласный вопль. Бетон содрогнулся, стены покрылись трещинами. Они мчались вперед, не бросая взгляда назад, пока не скрылись в темном лесу. Никита понимал: стоит обернуться — и он увидит. А увидев, уже не сможет уйти.



Они бежали по дороге, пока силы не иссякли. Рухнули на обочину, в жесткую, примятую траву, и замерли, жадно хватая ртом холодный, живой воздух. Он пах сырой землей, бензином и прелью. Никита чувствовал все: колкий холод, ноющую боль в боку, шершавость асфальта под лопатками и солоноватый привкус крови. Прикусил язык на бегу. И это было прекрасно. Не просто хорошо. Именно прекрасно. Потому что было ощутимо. Потому что они существовали.

Леха, не поворачивая головы, уставился в темнеющее небо.

— Вот, — выдохнул он, с трудом разжимая пересохшие губы. — Чувствуешь?

Никита коротко кивнул, вжимаясь затылком в землю:

— Чувствую.

— А это — бесплатно, — Леха хрипло рассмеялся. В его смехе смешалось все: изнеможение, страх, облегчение и глухая тоска. Он знал: завтра станет хуже. Послезавтра — еще невыносимее. Без ленты он превращался в пустоту, в черную дыру, которая неумолимо затягивала в себя все живое.

Но сегодня он чувствовал. И Никита чувствовал.

Дэн лежал чуть поодаль. Он не мог бежать, но видел все. Молчал, вглядываясь в лица друзей. И в его глазах застыло то, чего не было у них. Страх. Не за себя, а за них. В этом

взгляде читалась простая, мальчишеская любовь, не требующая слов или объятий. Просто лежать рядом, зная, что они дышат. Что это важно. Что завтра будет тяжело, но сегодня... Сегодня они живы.



Никита вернулся домой в три ноль три ночи. Мать спала. Он сбросил одежду. Рухнул в кровать и провалился в сон — тяжелый, беспамятный, как у младенца. Никаких сновидений. Только вязкая тьма и тепло, от которого тело, измученное недельной бессонницей, ныло, словно от глотка ледяной воды в пустыне. Эта боль была почти осязаемой, почти прекрасной. Организм заново учился жить.

Проснулся он только к обеду. Умылся ледяной водой из-под крана. Холод обжег кожу. И это было блаженством. Никита чувствовал все. Колкую текстуру полотенца, резкий запах мыла, щекотку волос на затылке. Мир вернулся. Плоский, серый, лишенный той самой ленты, но живой.

Вика не села рядом. Не из обиды. Она просто его не заметила. Никита снова стал тенью. Обычным парнем, которого видят, пока он стоит перед глазами, и забывают, стоит ему отойти.

И это было нормально. Не хорошо, нет. Просто выносимо. Теперь он знал, что скрывается за этой невидимостью. Между «быть замеченным» и «быть никем» пролегла пропасть. Лента была мостом. Но мостом-ловушкой. На том конце что-то ждало. Голодное, терпеливое, обладающее вечностью. А у него в запасе были лишь шестнадцать лет жизни и шнурок от толстовки в руках.



Прошла неделя. Вторая. Никита существовал. Ел, спал, чувствовал. Жил без везения, без Вики, без света. Но жил. Тускло, серо, по инерции.

Леха — нет.

На третий день он не пришел в школу. Через неделю его мать позвонила классной руководительнице, сославшись на болезнь. Еще через семь дней стало известно: больница. Ни Дэн, ни Никита не проронили ни слова. Что сказать? Что они лазили в заброшку, бросали шнурки в яму, привязывали ленты и кормили нечто, обитавшее под землей? Кто бы в это поверил?

Никита навестил его лишь однажды. Психиатрическая клиника на Токарева встретила его серым фасадом, такими же коридорами и стерильной палатой. Леха сидел в кресле, облаченный в казенную пижаму, и неотрывно смотрел в стену. Глаза открыты, но за ними... Пустота. Ни тьмы, ни света. Оконный проем, из которого выставили стекло.

На запястье ленты не было. Но остались следы. Два ряда крошечных красных точек. Кожа вокруг них казалась мертвенно-белой. А под ней, если присмотреться, проступало нечто серое, медленно пульсирующее, как тень на самом дне колодца.

Никита опустился на стул рядом, сцепив пальцы в замок.

— Леха, — позвал он, глядя в застывшее лицо друга.

Леха не шелохнулся.

— Леха, это я, Никита. Я вернулся. Я отдал долг. Я живой. Слышишь?

Леха повернул голову. Медленно, с механической тяжестью, будто у него на исходе был заряд батареи. Никита вздрогнул. В той пустоте, что заменяла другу взгляд, что-то шевельнулось. Что-то узнало его. По спине Никиты пробежал холод. Он резко вскочил, отступая к двери.

Леха криво усмехнулся. Лишь одной стороной рта, с выражением человека, хранящего страшную тайну. Эта улыбка пугала сильнее любого крика.

— Оно помнит тебя, — прошептал Леха. Голос звучал глухо, будто доносился из-под толщи воды. — Оно помнит. Ты вкусный. Ты вернешься.

Никита выскочил в коридор и, не добежав до туалета, согнулся над раковиной. Его вырвало. Обычная, теплая, кислая рвота. Эта физиологическая банальность принесла странное облегчение. Организм работал как положено. Мир оставался материальным. А он сам — живым. Леха был потерян. И это казалось чудовищно несправедливым. Но справедливость — удел детей, а Никита перестал им быть. Не после ямы. Не после зубов. Не после того, как голос из темноты позвал его «Никеша», совсем как мать.



Пролетел месяц, другой. Ноябрь сменился декабрем, укрыв землю снегом, сковав все морозами. Никита жил по инерции. Школа, еда, сон, редкие переброски словами с Дэном. Он по-прежнему наблюдал за Викой. Издали, без ленты, без надежды, без острой боли. Просто смотрел. Она казалась воплощением света. Он же — лишь бледной тенью, приросшей к стене. И это казалось правильным.

Но ночи... ночи приносили иное.

Не каждую. Раз в неделю, иногда в две. Он засыпал спокойно, проваливаясь в тяжелый сон. Но ровно в три часа три минуты просыпался. Не от шума, от запаха. Сладковатого, минерального, теплого. Того самого, из ямы. Едва уловимого, как отголосок забытого сна, но безошибочно узнаваемого. А в запахе — голос. Не слова, а бульканье, выдох, в котором тонуло его имя.

— Никеша...

Тихо, обманчиво нежно, почти по-матерински. От этого звука к горлу подступали слезы. Мать не звала его так целую вечность. Она вечно пропадала на сменах, вымотанная, вечно спешащая. А яма звала. В этом крылась подлая, голодная жестокость.

Никита не вставал. Он вжимался в матрас, до боли сжимая зубы, вцепляясь пальцами в край одеяла. Пытался удерж-

жаться за реальность. За свои шестнадцать лет, за тепло постели, за то, что он жив. А яма осталась где-то там, в лесу. Лента отдана. Он свободен.

Но запах не выветривался. Голос не стихал.

В этот момент, когда мир вымирал, погружаясь в абсолютную, звенящую тишину, Никиту накрывало отчаяние. Он лежал, глядя в потолок. Мысли предательски сворачивали не туда: «А может, вернуться? Всего на раз? Может, лента — не такая уж высокая цена за то, чтобы перестать быть невидимкой? Может, лучше сиять, пусть даже будучи мертвым, чем существовать вот так — прозрачным?»

И в этом заключался настоящий ужас. Не в яме, не в ленте, не в зубах существ. Ужас был в нем самом. В том, что он допускал эти мысли. В том, что его часть, та, что родилась в яме на звук «Никеша», — все еще жила. Была голодна и пряталась не в заброшенном подземелье, а внутри него. В самой глубине, где всегда темнее, чем в любом другом месте.

В углу комнаты, в ночи, сгущалась чернота. И Никита знал: это была не просто темнота.



Никита просыпался. Каждый раз через силу. Вставал. Щелкал выключателем. Садился за стол и открывал ноутбук. Имитировал деятельность, лишь бы занять руки. Свет разгонял морок. Запах гари отступал. Навязчивый шепот стихал. Но свет — лишь временная передышка до рассвета. А утром все повторялось. Школа, Дэн, Вика, роль серой тени и ожидание ночи. Ожидание трех часов, когда в углу комнаты, где тени сгущаются до черноты, снова проступит нечто.

С каждым разом решение вернуться в реальность давалось тяжелее. Голос из темноты звучал все роднее, а приторно-сладкий запах, как перезрелые фрукты, манил сильнее.

Никита понимал: однажды он не проснется. Не потому, что не сможет. А потому, что не захочет. Та сторона казалась вкуснее жизни. Яма звала его, как мать зовет ребенка. И он, чувствуя себя сиротой при живой матери, изголодавшийся по теплу, тянулся к ней. Там не нужно было быть никем. Там его ждали.

В этом и заключался истинный ужас. Не в клыках или когтях монстра, а в осознании. Тьма уютнее серой повседневности. Голод по чему-то настоящему сильнее страха перед пустотой. Он знал, что рано или поздно сделает выбор.

Шестнадцать лет — долгий срок для одиночества. А у того, что притаилось в яме, в запасе была вечность. И беско-

нечное терпение. И голос. До боли похожий на мамин.

А у Никиты — будильник на семь, лицей, Дэн, Вика, вечно занятая мать и тот самый угол, который темнее, чем везде.

Снова ночь. Снова три ноль три.

Снова этот запах.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.